



Литература «государственного устройства»

Середина XVI века

Литература — духовный организатор мира культуры. Она противостоит хаосу антикультуры, изначальной дисгармонии мира. Ее организующая роль тем сильнее, чем обширнее страна, чем больше в ней региональных, социальных, внутрифеодальных различий, бытовых особенностей — социальных и местных. Литература — огромное органическое целое, носящее активный, действенный характер. Именно потому в такой большой и пестрой стране, как феодальная Россия, литература играла в культурной жизни особенно важную, связующую роль. Она создавала идеалы поведения, идеалы личности, идеалы быта и государственного устройства.

Эти идеалы носили собирательную, объединительную функцию, и нужда в них проявлялась тем острее, чем больше развивалось объединение государственное.

Середина XVI века была эпохой величайшего государственного торжества на Руси, исконно русские земли были собраны воедино, присоединено Казанское царство, присоединено Астраханское царство, Волга стала целиком русской. Был открыт путь на Восток, в Сибирь и Среднюю Азию. Предстояло открыть ворота на Запад через Ливонию. Государство стало единым под властью одного сильного монарха вместо десятков слабых князей. Россия в глазах официозных идеологов русской государственности была близка к выполнению своей официальной исторической миссии: стать новым Римом. Миссия эта была своеобразным государственным мифом. Преодолеть для достижения идеала мифа Третьего Рима осталось совсем малое. «Стоглав» и книгопечатание, «Домострой» и «Степенная книга», казалось, упразднят культурные различия в государстве. «Четьи-Минеи» соберут всю читающуюся литературу, даже расположат ее для чтения по дням года. Чтение войдет в годовой цикл: каждому месяцу года, каждому дню месяца — свое, предназначенное. Сама история вот-вот закончится, ибо в мире полной политической и культурной упорядоченности не останется места для событий, случайностей, различий. А в непогрешимости монарха сомневаться не приходилось, ибо к монарху-то, согласно официальному мифу, все и сводится. Воля государя укрепляет все. Он над церковью и над государством. Он над людьми и над всеми их думами.

В эпоху образования единого русского централизованного государства литература становится не просто изображением действительности, но изображением неких идеалов, господствовавших в жизни, глашатаем жизненных ценностей, устройтелем идеального единого распорядка и уклада жизни.

Если в предшествующую эпоху создавалось то, что должно было стать идеалом, то в середине XVI века идеал был создан и создана была почва для его, казалось бы, быстрого осуществления: русская территория была собрана, самостоятельность отдельных княжеств уничтожена, земли и церковь объединены. Литература середины XVI века занята «устройством жизни». С одной стороны, продолжается присоединение к Русскому государству новых областей. Однако, с другой стороны, эти новые области сами вносят разлад в быт, обычаи, искусство, письменность, даже в церковное устройство.

Вожделенное единство ускользает, особенно в связи с присоединением нерусских областей — Казанского и Астраханского царств. Необходимость удержать и укрепить прочность быта, прочность и единство культуры возрастает все в большей мере.

Академик А.С. Орлов называл эпоху, начинающуюся с середины XVI века, — эпохой «обобщающих предприятий». «Стоглав» крепит единство и устойчивость церкви, «Домострой» вводит быт в регламентированные и идеализированные формы, «Степенная книга» и «Лицевой летописный свод» создают стройную концепцию русской истории: как бы целеустремленную к тому, чтобы стать опорой вселенского православия. Эта последняя концепция стала осуществляться в литературе уже в предшествующую пору, когда возникла идея Москвы как «Третьего Рима» — третьего и последнего; мирового царства, предназначенного провидением выполнить мировую роль, дать завершающее торжество православию и православному государству. В эпоху же, о которой идет речь, расширяется «Легенда о Белом Клобуке» — знаке незапятнанного ересями православия, который удостоиваются носить наследники Первого Рима и Царьграда — новгородские митрополиты, многие из которых переходили затем из Новгорода на Москву.

Итак, в 50–60-х годах проводятся многочисленные реформы, направленные на укрепление централизованного государства, на унификацию всей культурной, политической, экономической жизни страны. Унификация эта — подведение всей страны под некие нормы, создавшиеся в представлениях правящего класса отчасти под влиянием широкой полемики, разгоревшейся в литературе в предшествующий период (см.: Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984). Хотя сама полемика в этот предшествующий период велась довольно широко и различные точки зрения были в ней представлены с относительной свободой, — результаты полемики свелись к тому, что монархическая власть сочла оправданным свое вмешательство во все стороны жизни своих подданных, и создававшиеся произведения, в большинстве своем огромные и пышные, приобрели характер предписаний и установлений, официальных историй и поучений к созданию единообразия во всех сторонах

жизни: «Стоглав», «Домострой», «Чин венчания на царство», «Великие Четьи-Минеи», «Казанская история».

Во всем порядок и строгость. При этом вот на что следует обратить внимание. Предполагается единый быт всех слоев общества, единый круг чтения для всех, единое законодательство — как и единая денежная система. У одних побогаче, у других победнее, но в целом одинаковая. «Домострой» предлагает общие нормы семейной жизни для всех классов и сословий. Различие, которое допускается, — только в числе, количестве, богатстве. Двор одинаковый у крестьянина, купца, боярина — никаких отличий по существу. Все хозяйство ведется одинаково. «Великие Четьи-Минеи» предполагают общее чтение для всех. Тут и сложнейшие богословско-философские сочинения Дионисия Ареопагита и сравнительно простые жития русских святых. Разумеется, если не понимаешь, то можно и не читать, но если понимаешь, — то читать следует то, что предлагается, и в надлежащие дни года. Совершается словно возвращение к годовому кругу жизни, которое оставалось еще действенным в земледельческом и церковном обиходе. Изменения крупного исторического плана не предусматривались. Оставалось только славить историю, приведшую к утверждению Москвы, как центра человечества, и настоящее, которое можно улучшать в частностях, но нельзя изменять в целом. Происходит возвращение к монументализму, характерному для литературы и искусства Киевской Руси, но только утверждающегося на другой основе. Перед первым монументализмом открывался мир во всем его величии и грандиозности. Перед вторым монументализмом он закрывался и застывал как достигнутый идеал. Первый живил, второй мертвил. У первого было все впереди, у второго — позади. Этот второй монументализм отличался особым консерватизмом, сочетанием веры в совсем близкое достижение идеала и полного отказа от творческого отношения к современной авторам действительности.

Идеал, доведенный до деталей, требует церемониальности. Эта любовь к церемониальности во всем чувствуется в XVI веке и во всем приобретает свои формы. Может вызвать недоумение: какое отношение могут иметь к литературе чин свадебный, чин венчания на царство? На самом деле в этих на первый взгляд сухих указаниях есть такая сила любви к цере-

мониальности, которая поднимает их до уровня своеобразной поэзии. Это документы художественного творчества — творчества в области житейской, бытовой, но тем не менее не совсем обычной, ибо нельзя думать, что свадьбы справлялись всегда и всюду именно по одному чину. Скорее всего, это художественный идеал, свод рекомендаций, следовать которым надлежало лишь посылно.

Стиль, который следует признать господствующим в XVI веке, — это стиль церемониального монументализма, он может быть назван также стилем второго монументализма, учитывая, что первый монументализм — это стиль XI–XIII веков.

Господствующий в XVI веке стиль характеризуется не только пышностью традиционных форм, но и особым отношением к миру, стремящимся все подчинить определенным идеалам поведения и мироустройства. Стиль этот в известной мере деспотичен, ибо он не только *обнаруживает* в мире определенные стороны, особенности, но и *навязывает* эти особенности миру, исходя в основном из нужд феодального государства, впервые осуществившего на определенном уровне свое единство на огромной территории. Вместе с тем литература все больше обращается к действительности. Само по себе это обращение может быть различным: к большей ее изобразительности и наглядности, к светскому осмыслению, к документированности или к мелочевидению, к вниманию к подробностям событий, к строгой выдержанности последовательности рассказа, к жизненной наблюдательности, к связности рассказа как к некоему своеобразному повторению жизненного процесса и т. д.

«Повесть о болезни и смерти Василия III» стремится изобразить подробности событий. Эти подробности выстраиваются в некую цельную картину болезни, беспокойных передвижений, метущегося поведения, предсмертных распоряжений великого князя. Это одна из многих в русской литературе картин смерти, для своего времени замечательная, но привлекающая внимание по преимуществу деталями и самим нарастанием событий приближающейся кончины.

Автор выражает свое отношение к событиям, жалеет великого князя, а по поводу прощания умирающего с женой замечает: «Жалосно же бѣ тогда видѣти, слез, рыдание исполнено в то время».

Некоторые подробности очень оживляют повествование. Таким, например, оказывается рассказ о том, как в спешке вырвали чернеческую мантию, которую несли для пострижения в опочивальню к великому князю, и пришлось положить на него только переманатку и ряску. Реалистическая деталь вырастает из нарушения церемониала. Это значительно и в известной мере символично: отдельные элементы реалистичности противостоят церемониалу — все равно жизненному или литературному.

И вместе с тем повесть о смерти Василия III — это не простая фактография. «Повесть» хотя и описывает реальные события, действительно происшедшие, — памятные, известные, но она незаметно придает всему характер «действия». Перед нами смерть великого князя, а не рядового человека. Эта смерть могла бы быть и «чином кончины» — чем-то вроде чина свадебного или венчания на царство. Автор повести видит не только факты, но и величие фактов, их постепенность и степенность. Умереть внезапно, без покаяния, без прощания с близкими, без осознания самим умирающим значительности происходящего с ним, — считалось в Древней Руси величайшим несчастьем. Описывая нарастание болезни, медленное движение к концу, автор повести о смерти Василия III делал кончину достойной великого князя, подчинял ее некоторому «идеалу смертного конца».

Вместе с тем церемониальное обряжение событий уже не удовлетворяет читателей, и писатели начинают вносить в свое повествование разнообразные детали, делающие изображаемое легко представимым. Повествование благодаря этому разрастается, усложняется и приобретает отдельные черты реалистичности.

Стремление к соединению истории в единую причинно-следственную связь, к стилистическому объединению рассказа, к связному повествованию было настолько волевым, что выражалось даже в грандиозной попытке к иллюстрированию истории в единой манере в многотомном «Лицевом летописном своде» XVI века. Единые приемы миниатюрных изображений должны были подчеркнуть единство истории. Если раньше в летописном повествовании прерывистость повествования, скачки от одного эпизода к другому, переходы повествования из одного княжества в другое должны были

изобразить незначительность того, что совершается в этом мире в противоположность единственно значительному — вечности, то теперь наступила пора, когда подчеркивалось обратное — значительность всего того, что совершается в этом мире, целенаправленность мировой истории, устремляющейся к вечности. Раньше все земное было незначительно, а значительным считалось лишь то, что свидетельствовало о вечности. Теперь выявлялось обратное — земное стало значительным, как содержащее в себе вечное, божественную волю, вечное же находило себе выражение в мелочах и случайностях исторического процесса.

Если раньше прошлое представлялось как некая россыпь событий, а исторические сочинения (и в первую очередь летописи) излагали историю фрагментарно, то теперь, в XVI веке (а отчасти и раньше), историю стремились превращать в связное и сюжетное повествование. Это вызывало необходимость в ее делении на историю княжеств, городов, стран, отдельных князей. Жизнь человека также стала иметь свою «судьбу», целенаправленность. Появилась потребность в создании истории как цепи биографий и биографии соединять в историю страны («Степенная книга»), излагать историю княжений или царств.

В последующее время — в начале XVII века, в годы Смуты, поняли, что в истории есть борьба — соединение судьбы и воли людей, появились представления о роли народа, народных масс, восстаний, земских соборов и пр. Появилось и представление о двойственности природы человека, о совмещении в нем злых и добрых черт. Пока же, в середине XVI века, это движение к новому историческому сознанию совершалось в относительно простом.

Середина XVI века была ознаменована в русской истории присоединением Казани, а в истории литературы — в основном созданием такого эпохального произведения, как «Казанская история». «Казанская история» не только самый значительный памятник середины XVI века по своим художественным достоинствам и достоинствам исторического источника, не знающего себе равных по количеству сведений, сообщаемых им о присоединенном Казанском царстве, но и памятник, вобравший в себя многие новые черты литературы.

В истории литературы мы можем наблюдать периоды, которые проходят как бы под сенью одного какого-либо автора или одного какого-либо произведения. Так, например, «Повесть временных лет» осветила собой целую эпоху. Возникла она в начале XII века, но разошлась по произведениям всей Руси и жила в списках, переработках, цитатах — пять веков по крайней мере.

Конечно, «Казанская история» не может сравниться с «Повестью временных лет», но в ней самой жила литература предшествующих четырех с половиной веков в цитатах, заимствованных формулах, а главное — в идеях. При этом «Казанская история» «заглянула в будущее»: она ярко представила все те прогрессивные особенности литературы, которые разовьются в литературе второй половины XVI и XVII века.

Что же это за особенности? Во-первых, развивается личностное, авторское начало в произведении. Автор сообщает о себе биографические данные, что раньше делалось исключительно редко и скупно. Во-вторых, происходит усложнение рассказа и усложнение авторского отношения к описываемому. Эти усложнения частично объясняются необычной судьбой автора «Казанской истории», но в целом они становятся в какой-то мере характерными для русской литературы и знаменуют собой более широкое и более свободное видение мира.

Какие же события в жизни автора «Казанской истории» способствовали появлению в ней новых черт, характерных для литературы его эпохи?

Автор был пленником в Казани, принял магометанство и получил почетное положение при дворе казанского хана Сап-Кирея. Он пишет: «И взять мя к себѣ царь с любовию служити во дворъ свой, и сотвори мя пред лицомъ своимъ стояти. И удержану ми бывшу тамо у него двадесять лѣтъ в пленении. Во взятие же казанское изыдохъ ис Казани на имя царя и великаго князя. Онъ же мя ко христовѣ вѣре обрати и ко святей церкви приобщи, и мало земли удѣла даде ми, яко да живь буду, служа ему».

Двадцатилетнее пребывание в Казани не только в приближении ко двору, но и «при бесѣде со мною и мудръствующих честнѣйшихъ казанцев» дало ему знание истории Казанского царства, осведомленность во всех дворцовых делах

и интригах, в бытовой обстановке, хорошую ориентировку в расположении Казани и окрестных мест.

Заметно различие в осведомленности автора. То, что происходит в Казани, он знает в большинстве случаев как свидетель или долголетний житель Казани. То же, что происходит в Москве, он по большей части сочиняет по литературному этикету своего времени.

Автор давно интересовался историей Казани. Еще находясь на воле, на Руси, он расспрашивал «искуснейших (то есть наиболее осведомленных. — Д.Л.) людей, русскихъ сыновъ», но одни «глаголаху тако, инии же инако, ни един же вѣдая истинны». Только попав в плен и служа при дворе у «царя казанского», автор получил возможность удовлетворить свою любознательность, и не только, по-видимому, на основании устных источников. Его сведения отличаются относительной точностью — поскольку эта точность вообще была возможна при состоянии исторических знаний в XVI веке¹.

Наконец, соучастие в казанской жизни и дружеские связи с казанцами позволили ему судить о них более объективно, чем судили обычно русские книжники о врагах Руси. Он и сочувствует казанцам по-человечески, и восхищается красотой города, и с полной лирической самоотдачей передает или даже сочиняет от себя слова плача о Казани казанской царицы Сююмбеки. Этот плач приурочен автором к тому моменту, когда Сююмбеку выводили из Свияжска, чтобы отправить в Москву, и перед ней открылся потрясающий по красоте вид на Казань. Плач в виду Казани должен был производить особенно сильное впечатление на тех читателей, которые знали этот открывающийся обзор.

Автор «Казанской истории» все время колеблется между сочувствием казанцам и необходимостью признавать их врагами Русского государства. Иногда он прибегает даже к житейным шаблонам в отношении Казани и казанцев. Вот характерный пример. Подобно тому как в житиях основателей монастырей воспевается красота места, выбранного святым для монастыря, так и в «Казанской истории» говорится о поисках подходящего места для строительства города царем Са-

¹ См. рецензию М.Г. Сафагалиева на издание «Казанской истории» Г.Н. Моисеевой 1954 г. (Вопросы истории. 1955. № 7. С. 148–151).

ином Болгарским: «И поискавъ царь Саинъ, по мѣстомъ преходя, и обрѣте мѣсто на Волге, на самой украине Руския земли, на сей странѣ Камы рѣки, концемъ прилежащи х Болгарстей земли, а другимъ концемъ к Вятке и къ Перми, зело пренарочито: и скотопажно, и пчелисто, и всякими земляными сѣмяны родимо, и овощами преизобилно, и звѣристо, и рыбно, и всякого угодия житейскаго полно — яко не обрѣстися другому такому мѣсту по всей нашей Руской земли нигдѣ же точному красотою и крѣпостию, и угодиемъ человеческим, и не вѣмъ же, аще будетъ как и в чюжих земляхъ».

Освобождение Василия III из казанского плена казанским царем Мамоत्याком за большой выкуп автор комментирует как благое деяние казанского царя: «Милуетъ бо и варваринъ, видя державнаго злостражуща».

Автор восхищается Казанью и казанцами: «Град же Казань зѣло крѣпок, велми и стоитъ на мѣсте висоце...» Казанцы же «умѣние велико имущи ратоватися во бранѣх. И не побѣжде ни бываху ни от киих же, и мало таковыхъ людей мужественныхъ и злыхъ во всей вселѣнней обрѣташеся». Подчеркнутое слово могло бы и отсутствовать, оно этикетно, но без него вся характеристика могла бы быть обращена к русским, а не к их врагам. Автор ссылается затем и на собственные к Шигалею чувства — «жалость бо ми душевная и сладкая любви его ко мнѣ глаголати о немъ и до смерти моея понужает». Воздав хвалу казанскому царю Шигалею, автор пишет: «Да никто же мя осудит от вас о семъ, яко единовѣрныхъ своих похуляюща и поганыхъ же варваръ похваляющи: таков бо есть, яко и вси знают его и дивятся мужеству его, и похваляют».

В одной и той же фразе автор «Казанской истории» называет Казань и «презлымъ царствомъ сарацынскимъ» и «предивной Казанью» — без единой оговорки.

Знание истории Казани, событий последних лет, топографии города и его окрестностей оказалось тем более ценно, что автор «Казанской истории» был весьма образован и в русской литературе. В его произведении ясно ощутимы реминисценции из «Слова о Законе и Благодати», «Повести временных лет», «Жития Александра Невского», «Слова о погибели Русской земли», «Повести о разорении Рязани Батыем», «Сказания о Мамаевом побоище» и мн. др. Его военная терминология и отдельные образы близки с теми, что знакомы нам по «Слову

о полку Игорева». Здесь и сравнения с пардусами, и отдельные выражения, близкие тем, что встречаются только в «Слове» («под меч подклонити», «намоститъ дебри, и блата, и езера, и реки... костми», «чаша, сетованием растворяема» и пр.).

Характерно и следующее. Автор «Казанской истории» определяет и тех, кому назначено его произведение, и характер своего исторического произведения. Адресаты его — это «братия наша, воины» и «простые» читатели. «История» обращена откровенно и прямо прежде всего не к служителям церкви, а к светскому читателю. Он надеется, что читатели его «от скорби своя применятся», то есть, очевидно, перестанут сожалеть о потерях своих родных и друзей, положивших головы свои за присоединение Казани. Произведение же свое он определяет как «сладкую повесть». Что значит «сладкая»? Означает это, прежде всего, то, что повесть эту «сладко читать» — она интересна и она литературно хорошо написана. Это не самооценка, это только определение характера повествования, к которому он стремился. «Казанская история» — сюжетна и украшена, — украшена прежде всего введением драматических ситуаций, блестяще переданными или сочиненными длинными речами действующих лиц (в этих речах прежде всего сказались вымысленность, авторское воображение).

То обстоятельство, что автор «Казанской истории» воздает должное казанцам, их мужеству, любви к своему городу, уму и сообразительности (хотя в конечном счете они в основном ошибаются, не идя на добровольное подчинение Москве), лишь усугубляет драматизм повествования.

Значительность события присоединения Казанского царства к России определялась значительностью самой предшествующей истории Казани. Это не просто присоединение к России стратегически важного пункта: это слияние историй! И с этой точки зрения чем многозначительнее была история Казани, тем более пышным и важным оказывалось и само присоединение. Церемониальное по своей сути литературное произведение, «Казанская история» сама становилась частью гораздо большей церемонии — церемонии присоединения Казанского царства. Она была так же важна в этой церемонии, как и построение в честь взятия Казани церкви Василия Блаженного. И если последняя своей нарочитой и необычной пестротой как бы подражала Востоку, выражала своей архитек-

турой представление Москвы о «стиле Востока», то «пестрая» в своем отношении к казанцам и Казани «Казанская история» выражала противоречивые чувства автора: радость от присоединения Казани и уважение к ее истории, как бы признание ее исторической самостоятельности.

Другой памятник, который чрезвычайно характерен для середины XVI века, — это «Домострой». Перед нами унификация, идеализация и поэтизация быта, доведенные до предела возможного. Это не просто сборник по большей части мелких практических советов — как солить рыжики, или наказывать слуг и детей, или как класть чистую посуду, ложки и плошки, — обязательно «опрокинуто ниць». Нет, это и более широкие рекомендации — как устроить свой дом так, чтобы в него было «как в рай войти» (§ 38). В «Домострое» перед читателем разворачивается грандиозная картина семейного идеального быта и идеального поведения хозяев и слуг.

В отличие от своего предшественника — «Измарагда», возносившего идеал человека до требований, которые могли относиться только к святому, «Домострой» рассказывает и о поварне, и об укладках, и о хранении запасов: о делах и быте, вполне светских и жизненно мелких.

Идеал «Домостроя» — это идеал чистоты, порядка, бережливости, почти скупости, и вместе с тем гостеприимства, взаимного уважения, а одновременно и семейной строгости — запасливости и нищелюбия. И это в целом идеал трудовой жизни. И слуги и сама «государыня» (госпожа) должны не сидеть без дела — даже когда «мужь ли придет, гостья ли обычная» — «всегда бы над рукоделиемь сидѣла сама». Иное дело — гость «необычный», то есть знатный, — тут уж сами обязанности хозяйки становились трудом, и подчас тяжелым.

Упорядоченность быта оказывалась почти обрядовой, даже приготовление пищи — почти церковным таинством, послушание — почти монастырским, любовь к родному дому и хозяйствование в нем — настоящим религиозным служением.

Степенность во всем! Нарушения домашнего обряда — почти церковный грех. Случаи недорода, дороговизны смягчены вовремя сделанными домашними запасами. Домашняя жизнь не замкнута своим двором, ибо предусмотрена помощь соседям и соседская помощь. В «Домострое» пишется и о том, как давать в долг, как сохранить ношенное, чтобы отдавать сиро-

там — особенно детям. Важное место в «Домострое» занимали статьи: «Какъ всякое платье кроити и остатки и обрески беречи» или «какъ платья всякое жене носити и усътроити». Старые вещи надо беречь, хранить их чисто и «поплачено», то есть в заплатавшем виде, — «ино сироткам пригодитца». Осуждается в «Домострое» злоупотребление правом неволи (не само право неволи в его разных видах, — а лишь та бесчеловечность, которая может быть с ним связана). Этому посвящена особая статья — «Аще кто слугъ держит без строя». Нельзя, чтобы служанка, «у неволи заплакав», стала «лгать, и красть, и блудить», а «мужик» «и рѳзбивать, и красть, и в коръчме пити, и всякое зло чинити». В быту без слез не обойдешься, но «в неволе заплакать», видимо, считалось особенно тяжелым.

Указывал «Домострой» и как наказывать, а после наказания непременно пожалеть и простить, чтобы наказываемый не затаил в душе обиды. А побить его следует «не перед людьми», а тайно, чтобы не оскорбить особенно. «А по всяку вину по уху ни по видѳнью (то есть по глазам. — Д.Л.) не бити, ни под серцо кулаком, ни пинком, ни посохомъ не колотить, никакимъ железнымъ или дѳревянымъ не бить» (§ 38).

Если помнить об общей грубости семейных нравов, то нельзя не признать, что «Домострой» стремился к смягчению этих нравов, — стремился умно, давая тонкие, психологически обоснованные советы, прибегая к примерам и формулируя советы просто, а иногда и пословично (конец § 38).

Идеал — это, конечно, не реальность. Но идеал — великий и бесценный регулятор жизни. А если этот регулятор доведен до дома, до семейной жизни, входит во все мелочи быта, личного поведения в семье и в доме и во всем требует «знать меру», — то идеал, им проповедуемый, становится уже почти реальностью. Перед нами своеобразная «поваренная книга» русского быта.

В художественном же отношении «Домострой» рисует быт русских людей XVI века в различных мелочах, ибо, рассказывая о том, какой должна была быть жизнь, он давал понять и о том, в чем заключались ее нарушения, очевидно, не такие уж редкие.

Спрашивается — жизнь каких классов населения пытается регламентировать «Домострой»? Конечно, в первую очередь — имущих, зажиточных и даже весьма зажиточных.

Двор, который описывается и устраивается в «Домострое», — это двор и боярский, и купеческий, и, может быть, даже еще выше — княжеский. Но «Домострой» обращен и к тем, «у кого сель нет» (§ 42).

Привлекает к себе внимание и указание по крестьянству: как кормить корову, как ее доить, «а самой руки умыти чисто», вымыть вымя у коровы, и «потиралцемъ чистымъ вытереть, и в чистомъ мѣсте издоить, и во всяком бережении» корову сохранить (§ 42). То же пишется и о «лошадках» (оцените это ласкательное слово!), и о коровках, и о кобылках, и о телятах, и о ягнятах, и о курах, и о гусях, и свиньях, и утках.

Заботой о неимущих людях проникнуты и советы «Домостроя»: как добыть запас, чтобы он не был «втридорога, а не милой кусь». «Милый кус» — это тот товар, что действительно надобен и по вкусу (§ 43).

Древняя Русь знала разграничения между классами не в характере быта, как это стало в послепетровской Руси, а, главным образом, в степени накопленных богатств, в наличии слуг и величине хозяйства. Поэтому кое в чем идеал, нарисованный «Домостроем», мог быть и идеалом крестьянства, хотя и успешшего сильно обнищать при централизованной власти.

Как бы чувствуя недостаток духовности в «Домострое» (а этот недостаток и сделал его в XIX веке символом ретроградности в жизни), составители заканчивают его наставлением для души. Автор «Домостроя» понимал, что жизнь не может ограничиваться заботой о материальных и бытовых благах, о доме и о хозяйстве, а потому присоединил к своему сочинению наставление благовещенского попа Сильвестра возлюбленному его сыну Анфиму. Наставление это служит как бы духовной параллелью к остальному сугубо материалистическому тексту «Домостроя» и, возможно, составлено одним и тем же автором: уж слишком много — из основной части «Домостроя» и в его заключении — общих тем и выражений. Сильвестр нет-нет да сбивается на хозяйственные темы «Домостроя», хотя и пытается перевести их в план «духовности».

* * *

Литература в Средние века живет в полной мере произведениями, созданными и в предшествующие века. Эти произведения изменяются, дополняются, редактируются, приспособ-

ливаясь к требованиям эпохи. Одним из таких произведений, жившим в течение нескольких столетий, был «Измарагд», созданный, по-видимому, еще в XIV–XV веках. «Измарагд» — первое систематическое наставление «как жить», но наставление по преимуществу духовное. Он расширялся, дополнялся, и одно из его наиболее интересных «расширений» относится как раз к рассматриваемому времени. «Домострой» оказался уже «Измарагда» как духовного наставления, зато гораздо шире в своих бытовых рекомендациях. И это очень типично. Жизнь должна была быть регламентирована во всех своих мелочах и бытовых подробностях. Даже опечатки и разночтения в рукописных книгах были опасны в культурной жизни, и вслед за попытками исправления текста священных книг, к которым был в предшествующий период привлечен афонский ученый — Максим Грек, теперь в целях предотвращения каких-либо расхождений в тексте учреждается книгопечатание.

Главная заслуга первопечатника Ивана Федорова в том, что он достиг идеала в книгопечатании: он выпустил книги, в которых был проверен и исправлен весь текст и в которых не было собственно опечаток: главное достоинство книг — достоинство, которого после Ивана Федорова никто уже не достигал. Единство, к которому устремлялась эпоха, было здесь выражено, может быть, определеннее всего.

Сам Иван Федоров достаточно хорошо понимал свою роль в истории русской культуры, снабдив свои главные издания пышными послесловиями, в которых он говорит как Бог и обращается к Богу как равный. Никогда после него (а до него вообще не было таких людей) ни у одного печатника не было такого высокого самосознания, как у Ивана Федорова. Он был и остается первым и потому, что первым создал печатание книги с таким безупречным искусством, и потому, что он первым оказался на высшей ступени своего мастерства: первым среди всех русских печатников.

* * *

История литературы не ограничивается литературой. В литературе есть сторона, обращенная к истории, так же как в истории — одна из сторон, обращенная к литературе.

В истории к литературе обращено ожидание будущего; в литературе же к будущему обращено ее лицо, — даже когда

она говорит о прошлом. Литература — выразитель настоящего, своей современности, современность же всегда глядит в будущее. В литературе действительны не только традиции, но и настороженный взгляд вперед. И это должно учитываться в литературоведении, в обобщениях, посвященных той или иной эпохе литературы.

Характеризованная нами эпоха, кульминацией которой было начало царствования Ивана Грозного, была полна столь напряженного ожидания окончательного разрешения всех проблем, что она не могла не кончиться в условиях феодализма трагическими последствиями. Там, где нет еще научного предвидения, а господствует мифологическое мышление, создающее свой миф будущего, попытка овладеть мифом, превратить его в жизнь не может не разочаровывать трагически. В мифологическом мировоззрении есть всегдашнее стремление остановить время, достичь идеального покоя и вечности. Но развитие неостановимо, в нем нет покоя и есть жертвы.

Чтобы понять середину XVI века, мы должны заглянуть и в близкое будущее этого движения к мифологическому идеалу, к той мифической модели, по которой должна была течь вся русская жизнь в эпоху безграничной феодальной монархии и безграничной «одинокой» власти единых представлений о жизни.

Мнимая близость идеала к осуществлению, конкретная подробность этого идеала выраженная во внешних и внутренних успехах, создавали нетерпение и нетерпимость, и обе они вместе в конце концов привели к деспотизму, который тем более оказывался жестоким, чем меньше его понимали подвластные люди — современники, а впоследствии историки. Грозный, полный надежд в начале своего царствования, стал затем свирепеть от бессилия, как можно скорее и полнее провести в жизнь идеал, и от непонимания того — почему это ему не удастся, хотя все казалось ему таким ясным и необходимо понятным. Его подданные тем более были раздражающе пассивны, чем больше они не понимали того, чего от них хотят. *Единство* власти, сосредоточенной в руках одного «всесильного» монарха, оборачивалось одиночеством власти и связанным с этим *одиночеством* своеволием. Грозный же в конце концов не столько желал осуществления идеала, — он его во второй половине царствования почти и забыл, — сколь-

ко стремился осуществить свою полную власть над подданными — всеми: холопами и боярами, крестьянами и дворянами. Он обманчиво видел причину своих неудач в недостатке повиновения. Пассивность раздражала его больше, чем любое открытое восстание. Карающий меч Грозного каждый раз увязал в тине несопротивления, не встречая препятствий, которые могли бы оправдать силу его размаха. Грозный ломал то, что было мягко: он рвал то, что было несопротивляющимся; он с силой гнул то, что на самом деле гнулось легко. И при этом он постоянно считал, что неудача происходит от недостатка примененной силы. Он убирал советников и все более начинал страдать от одиночества безграничной власти. Было от чего стать неуравновешенным и сходить с ума.

Жестокость и нетерпимость власти вызваны были не только личными и случайными свойствами Ивана Грозного, как часто думают. Эта жестокость лежала в социальном порядке вещей: эпоха подошла к воплощению полной средневековой унификации, — подошла, но не могла ее до конца осуществить. Монархическая же унификация казалась крайне необходимой после мучительных столетий политических разладов и феодальной культурной раздробленности. Оставшееся для достижения идеала малое, казалось, уже не имело реальных сил для сопротивления. Но вот в этом-то и крылась ошибка. Сопротивление монарху, всякое проявление хотя бы небольшого произвола злило, вызывало жестокое подавление и вместо идеала усиливало деспотизм, а вместе с деспотизмом — произвол, дробление еще худшее, чем раньше, отделение и бегство из центра на окраины — на Север в леса и на Юг в степи, на Восток, — что привело к освоению Сибири, на Запад — для продления в Польско-Литовском государстве той культурной работы, которая оказывалась невозможной в центре. Иван Федоров продолжает печатать книги в Остроге и Львове, Андрей Курбский — охранять и насаждать православие в Польско-Литовском государстве и полемизировать с Грозным, упрекая его за жестокость по крупным и мелким поводам.

Мелочи в конце концов стали мстить за себя и превратились в крупнейшие препятствия на пути к мифологическому идеалу всеединства, к которому стремился не один Грозный. Но об этой последней неудаче — в следующем томе наших «Памятников литературы Древней Руси».